

СВЕТЛАНА ЗАМЛЕЛОВА



## НЕПРИКАЯННОСТЬ

РАССКАЗ

### I

От города на автобусе нужно ехать километров двадцать до большого села. А там ещё через лес и болото километров пять пешком. И вот, наконец, Речные Котцы. Смысл названия не ясен даже старожилам — ни реки, ни каких бы то ни было котцов в деревне отродясь не бывало. Хотя, по здравому размышлению, название не могло появиться на голом месте. Текла, наверное, когда-то река, ловили в ней рыбу, для чего и ставили котцы\*.

Но лет пятнадцать назад ничего похожего здесь не было, как не было уже и лесхоза, кормившего деревню при советской власти. Зато было два десятка дворов и небольшая церковь на въезде. Пять домов давно стояли заколоченными, один купили какие-то чудаки-дачники, внезапно появляющиеся летом, рыщущие самозабвенно по лесам и так же внезапно исчезающие. В остальных домах жили старухи — несколько вдовых, несколько со стариками и одна — со взрослым дурачком-сыном. Кроме старух имелся в деревне пожилой вдовый священник. А с некоторых пор — средних лет бобыль, недавно вернувшийся из мест заключения, где отбывал за драку; да ещё молодой “грузин”, как прозвали его старухи, в действительности же — неизвестно откуда взявшийся переселенец с Кавказа.

Как-то пошёл по деревне слух, что будто бы приезжает с Урала группа старообрядцев и что будут они по-своему молиться и всех в свою веру обращать. Кто пустил этот слух, сейчас уже не известно. Может быть, почтальон, пробиравшийся иногда в деревню с письмами и очередным номером “Журнала Московской Патриархии”, а может быть, фельдшерница из села

---

\* Котцы — плетнёвый перебой через реку для удержания и ловли зашедшей туда рыбы.

у тракта, навещавшая изредка старинных своих пациентов. Но как бы то ни было, в Котцах заволновались.

После смерти Сталина церковь в деревне закрыли. Но не взорвали. Пришло время — и церковь открыли и стали служить. Кое-что, конечно, было утрачено: пропали несколько икон, стены пошли трещинами, росписи поблели и местами облетели. Но в целом церковь оказалась пригодной для службы даже зимой. Вскоре прислали священника, и потекла приходская жизнь. Костяк прихода составили старухи — свои и сельские — и Вася-дурачок, голосом и манерами очень похожий на старух. Священник приходу понравился. С первых же дней он выказал себя рьяным пастырем — внимательно и серьёзно выслушивал старушечьи грехи, каждую умел утешить и ободрить, а для проповеди находил такие простые, но сердечные слова, что заставлял старух шмыгать носами и отирать морщинистые лица. Борода и голос батюшки тоже пришлись всем по вкусу.

Лёнька, вчерашний уголовник, шатаясь по деревне пьяным и натываясь на отца Алексея, сгребал всякий раз его в объятия и со слезой в голосе уверял, что и он, Лёнька, “не какой-нибудь там” и что тоже в Бога верует. На вопрос же отца Алексея, почему в таком случае он не приходит в церковь, Лёнька поднимал брови, искренно хохотал и, удивляясь наивности батюшки, восклицал: “Да чего ж я там со старухами делать буду?”

Как-то в Петров пост в Котцах появились двое. Выйдя из лесу, они остановились, огляделись и цугом проследовали к заколоченному дому Петраковых, несколько лет назад схоронивших стариков и перебравшихся в город. Петраковский дом стоял последним на деревенской улице, так что вся деревня могла рассмотреть, что двое — это молодые мужчины в куртках и брюках защитного цвета, в кепках с длинными, жёсткими козырьками, похожими на утиный нос, и с большими брезентовыми рюкзаками.

С Петраковского дома они сбили ржавый замок и исчезли внутри. Приходский староста Ильинична хотела было снарядить к ним на разведку свою помощницу. Но отец Алексей, знавший о брожениях, вызванных слухами и ожиданием “группы с Урала”, опередил старостихиных присных и, чтобы разобраться самому и успокоить паству, лично отправился к приезжим.

Обиженно скрипнула покривившаяся дверь, и батюшка взойшёл на крытое крыльцо. Пересёк душную, раскалённую террасу, засыпанную разным хламом, и оказался в прохладных сенцах. Дверь в горницу была открыта, и отец Алексей увидел, как приезжие, сбросив на пыльный пол рюкзаки и обнажив головы, оглядывают своё новое пристанище.

— Настоящая изба, Санёк! — говорил тот, что курносый и поменьше ростом. — Как тебе?

— Да! — улыбался мечтательно Санёк и похлопывал ладонью печную кладку, точно проверяя её на прочность.

Потом он скинул куртку и остался в одной майке — потный, сильный, по-мужски красивый. И улыбка, и заголённые руки, и расставленные широко ноги в тяжёлых ботинках — весь облик его почему-то вдруг навёл батюшку на мысль, что Санёк этот надолго в Котцах не задержится.

— Здравствуйте, — прокашлялся отец Алексей.

Оба повернулись, напряжённо и недоверчиво уставились на батюшку. Но, сообразив, что перед ними старик, да к тому же ещё священник, обмякли и в первую секунду даже обрадовались. Но тут же отцу Алексею показалось, что Санёк ухмыльнулся, и что-то нехорошее, высокомерное промелькнуло в этой ухмылке. Точно досадовал Санёк, что испугался, а испугал его всего лишь старый заштатный поп.

— Здравствуйте, молодые люди, — повторил отец Алексей. — Простите, что беспокоил... С приездом вас...

— Здравсьте. Проходите, — кивнул отцу Алексею приятель Санька.

Батюшка переступил высокий порог и оказался в комнате — довольно большой, с русской печью посередине, без мебели, с кучками осыпавшегося из стен мха на полу.

— Зашёл, понимаете, познакомиться с новыми людьми... кхе-кхе... Здесь, в деревне, — всё на виду... Звать меня отцом Алексеем, а вы... стало быть...

— Александр Симанский, — протянул руку Санёк.  
— Виктор Чудомех...  
— Ага... ага... — отец Алексей хихикнул про себя над диковинной фамилией. — И что же, вы... Петраковых друзья? Или как?..  
— Этот дом мы купили, — объявил Симанский. — Будем здесь жить, вести хозяйство и... и молиться... Вроде как скит думаем устроить...  
— Так вы... стало быть... и впрямь... староверы с Урала? — забормотал отец Алексей, у которого даже ноги подкосились.  
Но в ответ Симанский и Чудомех переглянулись и расхохотались так, что в доме что-то затрещало и заскрипело.  
— Почему с Урала? Мы из Москвы! Не староверы мы...  
— И не плотники!.. — прибавил Чудомех, и они опять расхохотались.  
— Обижать никого не собираемся. Надеемся, и нас беспокоить не будут, — последние слова Симанский проговорил твёрдо и даже, как снова показалось отцу Алексею, с вызовом.  
— Ага... ага... — забормотал отец Алексей, и густые седые брови его зашевелились, как два живых существа.  
А про себя отец Алексей ещё раз подумал, что Санёк этот долго здесь не задержится.

## II

За несколько лет до своего появления в Котцах Симанский и Чудомех получили дипломы Московского университета.

Прадед Симанского был дьяконом сельской церкви Тамбовской губернии. Дед преподавал научный коммунизм, отец посвятил себя изучению экономических отношений Советского Союза со странами Магриба. Отношения эти складывались неплохо, и отец то и дело осчастливливал потомков тамбовского дьякона марокканскими джинсами и алжирской жвачкой.

Жил Александр интересно и разнообразно. Ещё студентом вошёл в круг замечательных людей, буквально изнемогавших в борьбе за что-то не вполне определённое, но, безусловно, прекрасное. И это не могло не восхищать. Опьянённый двойной жизнью между повсеместно нарушаемыми запретами и хитроумно избегаемыми наказаниями, Симанский стучал на пишущей машинке, множа самиздатовские листки, носился по Москве, собирая подписи под протестами, спорил на прокуренных кухнях с бородастыми диссидентами и гладковыбритыми ретроgrадами, доказывая последним необходимость свободы слова и каких-то прав, которые есть за границей. И чувствовал себя вовлечённым в исторические процессы. А как он любил эти споры! Этот могущий показаться бессмысленным и бесполезным трёп, без которого никто решительно не мог обойтись вокруг. Трёп, позволяющий одним скрашивать пустоту и скуку, другим — упиваться самоутверждением, третьим — отыскивать в словесном соре жемчужные зёрна.

— Да пойми же, болван, — горячо внушал Симанский одному своему приятелю, увлекавшемуся поздними славянофилами. — Пойми, что славянофильство отжило своё! Мода — о, да! Это понятно. Но чтобы принимать это всерьёз?.. Скучнейшее, нуднейшее учение о несуществующих вещах!

— Врёшь, брат! — откликнулся славянофил. — Врёшь! Время славянофильству! А вот ты так коснеешь в глупости и заблуждениях. Кому-то очень нужно всё раскатать. И для этого набирается целая армия дурачков, в общем и целом безопасных, хотя и кусающих за ноги. А каждая реакция на такой укус — гол в собственные ворота и повод к обвинению в генетическом тоталитаризме!..

— Вот сам и соврал! — радовался Симанский. — Соврал, брат! Эти люди жертвуют собой для целой страны, для огромного, бессмысленного народа. Чтобы добиться прав для этого народа, небольшая, в сущности, кучка людей... лучших людей!.. готова гнить в тюрьмах!..

— Да ты сам врешь! Вот гнить-то вы как раз и не готовы! У вас это игра, вы уверены, что ничего вам за неё не будет! И никакие такие права, о которых ты тут рассуждаешь, не изменят никого из вас! И вообще нико-

го! И неужели ты думаешь, что где-то есть рай на земле? О, глущцы! О, ленивые и тупые мулы! Ведь вы от лени пялитесь на Запад! От лени! Вы не хотите и не можете создать своего, вам проще, как в лавке, выбрать готовое. И чтобы оправдать свою лень, вы сами себя убеждаете, что выбранное вами совершенно!..

— Как ты можешь говорить это, когда вчера только у Фридландов был обыск! И Яшку забрали. Яшка Фридланд в Лефортово! Понимаешь ты это? Яшка в Лефортово!

— Ха-ха-ха! У Фридландов, говоришь?.. Вся эта ваша диссидентская чехарда с борьбой за права есть борьба за право уехать на жительство в Израиль. И помини моё слово: когда все твои Яшки переедут в Израиль, диссиденты переведутся сами собой! И о правах для “этого народа” никто больше не вспомнит!

— А вот в этом ты прав! Единственное, в чём ты прав, — вот в этом! Только евреи и способны бороться...

— За права “этого народа”? И ты в это веришь?..

И странным образом случилось по предсказанному славянофилом: евреи уехали, диссиденты перевелись, всё вокруг перевернулось. Появились одни права, исчезли другие, за которые бороться стало некому. А если и находились борцы, то ни подать себя, ни заявить о себе они не умели. И оттого слыли злодеями. И больше не было диссидентского флёра, не было скромного обаяния и сытого трёпа. И зарубежные радиостанции больше не надрывались и не заходились плачем над несчастным народом. О правах стало говорить не модно, и все заговорили о духовности.

И вскоре в комнате Симанского рядом со старинными иконами, дошедшими от уваровского дьякона, и фотографией Елены Боннэр появились изображения Блаватской, Саи-Бабы и Раджнеша. Вошли в повсеместный обиход слова “Абсолют”, “Энергия”, “Космический Разум”. И Симанский, хоть и носил на шее крест из Загорска, уже отстаивал на кухнях равновеликость всех религий и утверждал, что “Бог в душе”.

Но вместе с тем, Симанский заскучал. Агни-йога на время развлекла его, но хандра вернулась, и он оказался не в силах противостоять ей. Вокруг, отчасти благодаря усилиям самого Симанского, всё трещало и рушилось, а Симанский хандрил, злился и чувствовал, что теряет вкус к жизни.

Ещё недавно ему казалось, что лучшие люди изнемогают в борьбе. Но если бы только его попросили остановиться, перестать думать и говорить чужими фразами, а вместо этого здраво осмыслить всё, что происходит вокруг — самиздаты, кочегарки и прочий революционный пафос, — а затем ответить на простой вопрос: “Ради чего это нужно?”, — едва ли он подыскал бы вразумительный ответ. Именно эта привычка думать и говорить чужое, впитывать сентиментальные истины, захлёбываться в информации и никогда не оставаться наедине с самим собой — именно эта привычка не позволяла ему остановиться в суеде и кутерьме борьбы. Сладкое это слово — борьба! Красота и необременительность, иллюзия собственной занятости и незаменимости, переполняющее самодовольство и надрыв. Этот вечный надрыв, эта поза, самолюбование, доводящее до умопомрачения!

А теперь всё казалось ложью, фальшью, подделкой. И это было ужасно. Это отбивало охоту жить.

Симанский усомнился в диссидентстве, потому что и сам теперь видел, что похоже оно на игру. Усомнился в своей работе, потому что не знал, зачем выполнял её. Усомнился даже в диссертации, потому что это было перепеванием в сотый раз одного и того же мотива. О, фальшивая, ненастоящая жизнь! Есть ли в тебе хоть что-нибудь истинное, подлинное, чистопробное!

Демократия, бизнес и прочие штуковины заткнули собой все прорехи прежнего строя. Но было ли это новое подлинным? Ни одной секунды! Ни хля, ни помпа, ни болезненное восхищение собой — ничто не могло заслонить подделки и мизера. Но хуже всего, что все вокруг так приспособились к этой подделке, так полюбили её, что всякий протест воспринимался большинством как глупость или зависть. Все, и особенно те, у кого получалось фальшивить ловчее, приучились считать эту фальшь настоящей жизнью. Но и тот, кто воз-

вышал голос, отлично знал: комфорт, престиж и самоуважение — три источника, три составных части, а лучше сказать, три кита, на которых покоится современный *Homo Sapiens*, — невозможно добыть вне фальши.

За рассуждениями Симанского по традиции потянуло в народ.

Ему предложили купить дом, и он ухватился за это предложение. Семья у него не было. В институте, где он работал, шло сокращение, и, не дожидаясь увольнения, Симанский уволился сам. Одному ехать в деревню было боязно и несподручно, и Симанский увлѣк Чудомеха, уже рассчитанного и вдобавок брошенного женой.

### III

Выражение “уйти в народ” значит, как известно, проникнуться сознанием пагубы цивилизации и бежать туда, где привыкли обходиться без её благ и соблазнов. Бежать к людям, трудящимся ради насущного, но не излишнего. На фоне этого благостного идеала сам собой рисуется образ народный: крестьянки с крынками, мужики с косами, тучные коровы, заливные луга, Алёша Карамазов, монахи-старцы, заснеженные избушки и церковки. Труд и молитва — веками устоявшийся уклад, дающий каждому покой и довольство. Образ этот, сотканный интеллигентским воображением, не намного, думается, отличается от образа, намалёванного воображением какого-нибудь европейского интеллектуала, который ну, никак не хочет обойтись без медведей.

Деревенька Речные Котцы произвела на Симанского самое благоприятное впечатление — всё здесь было настоящим. Даже поп оказался всамделишным. Правда, не таким колоритным, как представлял себе Симанский, — без брюшка-аналога, без румянца во всю щѣку, к тому же, и это было видно с первого взгляда, без высшего образования. Зато вечером к ним пожаловал настоящий деревенский пьяница, в сапогах, в тельняшке с обрезанными рукавами и с двумя бутылками под мышками. Отрекомендовался гость “соседом Леонидом” и предложил угоститься водкой, торчавшей у него из подмышек. Чудомех приглашение тотчас принял, но Симанский какое-то время колебался, памятуя, что приехал в деревню “жить настоящей жизнью”, что означало для него в тот момент *проводить дни в трудах и молитвах*. С одной стороны, распитие водки нельзя было отнести ни к трудам, ни к молитвам. Но с другой стороны, оно — это распитие — являлось неотъемлемой частью народного времяпрепровождения. А потому Симанский недолго сопротивлялся соблазну “соседа Леонида”.

Когда же они выпили, “сосед Леонид” стал выказывать любопытство.

— Скажи... Ну, скажи мне... — уговаривал он Симанского. — Вот зачем вы сюда приехали?

Симанский начинал про труды и молитвы, но “сосед Леонид” возражал: — Это мне всё понятно. Ты мне объясни, зачем вы сюда-то приехали!..

И они долго ходили по кругу: Симанский всё рассуждал про “настоящую жизнь” и про то, что они тоже русские мужики, а Лёнька всё выпытывал, при чём тут Речные Котцы. А Чудомех слушал и всё не мог уяснить: кто из них кого не понимает.

— Сгинете вы, — сказал, наконец, Лёнька. — Сгинете оба. Чего вы зимой станете делать? Дров у вас нет, огорода нет, скотины тоже нет — сгинете!

Но Симанский возразил, что дрова они купят, а ещё купят корову.

— Какую тебе корову! — хохотал в ответ Лёнька. — Где ты коров-то видел? В зоопарке, что ли, в Москве? Тут уж забыли, какие они из себя — козы у всех.

— Ну, козу купим, — нашѣлся Чудомех. — И дешевле, и ест меньше.

— Ну, положим, козу вы купите, — рассуждал Лёнька. — Вона, у Семёновны, цельное стадо! Положим, Семёновна вам продаст. Дык она сдохнет скоро!

— Семёновна?!.

— Ась... Дождѣшься ты от Семёновны... Коза у вас сдохнет — жрать-то ей нечего будет. Чем кормить-то её станете?

— Чем все, тем и мы...

— Все... У всех сеновалы, сено... А у вас чего? У вас — шиш! — и Лёнька для пущей убедительности подставлял волосатый кулак с уродливо вылезающим грязным большим пальцем под нос то Симанскому, то Чудомеху.

На другой день, отдохнув с дороги и придя в себя после Лёньки и водки, Симанский и Чудомех уселись строить планы на будущее. Лёнька был прав: чтобы не пропасть зимой, нужно было запастись дровами и набить сеновал сеном. А кроме того, решили запастись грибами. Но для грибов было рано, с дровами можно было подождать, а в крайнем случае, топить штакетником или притащить из лесу сухостоя. Перво-наперво решили заняться косой, для чего прикупили в селе две косы и там же отбили их у какого-то умельца. Но снова явился “сосед Леонид” и объяснил, что “до Петрова дня не косят — не принято” и стал сманивать на рыбалку.

— Где её ловить, твою рыбу? — смеялся над Лёнькой Чудомех. — В болоте, что ли?

— Зачем в болоте? — обиделся Лёнька. — В лесу, километрах в десяти, озеро есть. Там рыбы!.. — он растопырил руки и скрючил пальцы, давая таким образом понять, что озеро кишит рыбой. — Да там... вёдрами ловят!..

Симанский и Чудомех привезли с собой снасти и, подумав, решили, что не пропадать же добру, да и рыбу можно на зиму заготовить. А потому вместо сенокоса отправились на другой же день на рыбалку.

Для уточнения времени можно было бы прибавить “на рассвете” или “чуть рассвело”, но это оказалось бы ложью, потому что в то время года в тех краях слово “рассвет” исчезает из обихода за ненадобностью. Ночное небо остаётся светлым, точно солнце не уснуло, как зимой, а слегка задремало, готовое в любую секунду подняться. И на востоке розовый край солнечного одеяла всю ночь трепещет под лёгким дыханием светила.

Лёнька завёл их в лес, где за сонными ещё берёзами пласталось небольшое, остекленевшее под зыбким солнечным светом озерцо с прозрачной водой и песчаным дном, по которому шныряла разная рыба мелюзга. От берега катились по гладкой воде берёзовые полешки, уложенные кем-то в мостки. В стороне Симанский заметил старое кострище.

Пока шли по лесу, Симанскому всё очень нравилось: и воздух, такой душистый, что казалось, кто-то разлил флакон дорогих духов, и шум, производимый птицами, и предвкушение неизвестного лесного озера, кишашего рыбами. И хотелось, чтобы приходили красивые, умные мысли, запечатлевающие чувства. Но в голову лезло что-то нелепое: “Вот где всё настоящее... настоящие русские мужики...” Симанский почему-то стеснялся этой мысли. Но ничего лучше выдумать не удавалось. Наконец он сдался и отчётливо проговорил про себя: “Вот где всё настоящее, и Россия, и... вообще!” Но тут же устыдился и скосил глаза на Чудомеха, точно опасаясь, не услышал ли тот его сентиментальной думки. Но Чудомех ничего не слышал. Симанский успокоился и стал думать о “настоящей жизни” и о том, что ему, кажется, удалось-таки вкусить от неё. А Чудомех ни о чём не думал.

Выстроились на мостках — Чудомех и Симанский со спиннингами, Лёнька с удочкой. Приладили садок. Первым исчез под водой Лёнькин поплавок. Лёнька на радостях выругался, засуетился, подсёк и вытянул шурёнка. Под зубами маленького хищника леска лопнула, но шурёнок уже бился о покатые бока берёзовых чурбашек.

— Ты гляди, — радовался и ругался Лёнька, — ты гляди-тко! На удочку... и такого зверя!.. Экой ты, брат!.. Ну, врешь, не уйдёшь!..

И шурёнка пустили в садок.

Пока Лёнька возился со своим уловом, клонуло у Симанского. И снова шурёнок. Потом Лёнька достал подлещика, а Чудомех — плотвицу. Были ещё щурята, окуньки и даже здоровенный, килограмма на полтора, судак. Потом рыба ушла, и стали они, что называется, сматывать удочки. Но когда достали садок, ахнули: сбоку зияла дыра, и рваные мокрые нити садка, как черви, извивались и шевелились, точно стремясь расползтись в разные стороны.

Тут же на мостках все трое присели рядом на корточки и задумались. Лёнька предложил покурить. Чудомех угостился, Симанский поморщился.

— Может, мы одних и тех же рыб по три раза тянули, — задумчиво изрёк Чудомех. — Вот они над нами посмеялись...

— Может, наоборот... приятное хотели сделать, — возразил Лёнька, выпуская дым.

— Приятное они бы нам сделали, если бы из садка не уплывали...

— Ну, ты их из воды тянул, приятно тебе было?..

— Да вы о ком говорите-то? — досадливо спросил вдруг Симанский.

И все замолчали.

— Ну, что, дачники... По домам? — спросил Лёнька, поднявшись и ратирая сапогом окурки о берёзовые мостки.

Не разговаривая друг с другом, собрались и пошлепали в деревню...

— Делом надо заниматься. Делом... — ворчал Симанский дома. — Мы не по рыбалкам приехали бегать... Нам хозяйство нужно поднимать. А Лёнька этот... баламутит он нас...

И Чудомех, как всегда, соглашался с ним.

#### IV

На другой день умерла в Котцах одинокая старуха. Говорили, что умерла она “хорошо”, то есть до последнего почти дня была на ногах. Явившись помочь, Симанский и Чудомех ещё с улицы увидели обтянутую красным атласом крышку гроба, прислонённую к стене дома справа от крылечка. Возле крышки, как на посту, стоял “грузин”. В доме толпились и сновали старухи да несколько дедов, один из которых — ветеран войны — надел зачем-то пиджак с орденами. Покойная лежала в гробу на столе посреди комнаты. Лицо её было обращено к иконам, под которыми горела лампадка. В противоположном от красного углу стоял табурет, а на нём — ещё одна лампадка и стакан прозрачной жидкости с куском хлеба поверх. Три свечи горели в головах усоншей, связанной по рукам и ногам белыми платками. Под столом с домовиной лежал зачем-то топор. Симанский разглядел, что у покойной круглое морщинистое лицо, даже по смерти сохранившее добродушие.

— Ну, что же ты, Сергеевна, — вдруг пронзительным, визгливым голосом затянула одна из старух, стоявших у гроба, — отмучилась, отбегалась, сердешная...

Тотчас все в комнате затихли, и Симанский догадался, что церемония началась.

— Кто же мне теперь подскажет, соседка, — подхватила другая старуха рядом, — кто надоумит...

— Самая ты у нас была мудрая, — пропела третья, — уж на что у нас все... а ты-то самая... была...

Старухи у гроба оказались как на подбор высокими и плечистыми, точно гренадёры, и причитали похожими визгливыми голосами, которые как-то не вязались с их фигурами. Тут же стоял Вася-дурачок, раскачивался и всхлипывал по-старушечьи. Покойная никем не доводилась ему, но он привык вести себя сообразно минуте.

— А справный гроб-то, Ильинична, — услышал Симанский где-то рядом.

— Дык... Хушь самой ложись, — раздалось в ответ.

— И почём взяли?

Ответа Симанский не расслышал, потому что Ильинична, называя цену, понизила голос.

В комнату вошёл отец Алексей, и старухи у гроба перестали причитать. Затих и перестал качаться Вася. Чья-то сморщенная рука сунула Симанскому свечу, и только тут он заметил, что все вокруг держат свечи и зажигают их по цепочке. Чудомех, которого отеснили в сторону, держал свечу зажжённой.

— Благословен Бог наш... — возгласил батюшка.

Началось отпевание.

После чтения Евангелия свечи задули, и комната наполнилась дымом и церковным запахом. Отец Алексей прочитал разрешительную молитву, и несколько старух бросились снимать с усоншей белые платки, которыми

были перевиты её руки и ноги. Платки и листок с молитвой опустили в гроб, как вдруг поднялась в комнате какая-то неизъяснимая суматоха. Точно набежавший вдруг ветер поднял волну на жнивье. Но в следующее мгновение суматоха персонифицировалась, и все вокруг успокоилось. У гроба возникла маленькая старушонка, до смешного контрастировавшая телосложением с плакальщицами.

— Батюшки... батюшки, — испуганно лепетала она и суетливо поворачивалась то направо, то налево, — забыли-то... забыли... Господи, помилуй!.. Погоди-тко...

Приговаривая так, она показывала соседям какой-то небольшой предмет. Симанский разглядел его. Это была вставная челюсть. Вокруг заахали, сокрушаясь, о чуть было не допущенной оплошности, а маленькая старушонка пристроила челюсть в гроб и поправила что-то на усопшей.

Стали прощаться с покойницей, после чего Симанский, Чудомех, Лёнка и “грузин” отнесли гроб на погост. А когда первые комья земли с глухим стуком упали в могилу, все вдруг стали бросать туда же монеты, весёлый, жизнелюбивый перезвон которых никак не вязался с настроением, приличным обряду.

— Вот сколько раз говорил, — посетовал отец Алексей, оказавшийся рядом с Симанским. — Как в Древнем Египте — чего только не сунут в могилу... Церковь сегодня, как кон... — он запнулся. — Кон... контистадоры... — должна обращать ко Христу из дикости.

Симанский только усмехнулся про себя на “контистадоров” и ничего не сказал.

После погребения все отправились на поминки, где, судя по тому, как на погосте переминался с ноги на ногу Лёнка, как справлялся он то и дело о времени, как нетерпеливо озирался поверх старушечьих голов, предполагалась обильная выпивка. Симанский, на сердце которого увиденное легло глубоким оттиском, не хотел ни думать о водке, ни являться домой вполздорова.

Всё казалось так странно, так необычно, что Симанский чувствовал себя как незваный гость, как человек, остановившийся в чужом доме и незнакомый с его порядками. И дело было не в мрачном обряде, но в ощущении огромного, почти непреодолимого расстояния между ним и людьми, которым он хотел стать своим, и которые были ему братьями лишь по названию.

Чудомех в одиночестве не пошёл на поминки.

## V

До Петрова дня оставалась ещё неделя, а заняться, по большому счёту, было нечем. А потому решили приступить к покосу, не дожидаясь праздника. Условились подняться в четыре утра, потому что оба — и Симанский, и Чудомех — знали понаслышке, что косить ходят очень рано, по росе.

Косы то звенели, то взвизгивали, жаворонки журчали над головами. Изысканно-сдержанное северное лето напоминало юную свежую девушку, к волосам и цвету лица которой идёт самое скромное, самое неброское платье, а кожа, пахнущая не то арбузом, не то фиалкой, не то ещё чем-то нежным и свежим, не нуждается ни в каких самых сладких и чувственных духах.

С непривычки вставать рано гудело в голове, слегка подташнивало и тряслись руки. Но было приятно сознавать себя настоящими русскими мужиками, занятыми настоящим делом, польза от которого очевидна. К девяти часам вернулись домой и занялись мелкими делами: готовили обед, чистили избу, окосили траву на участке.

И на другой, и на третий день поднимались спозаранку. Суета и перемены прогнали на время хандру. Но Симанский верил, что хождение в народ — старый, испытанный поколениями интеллигентов способ борьбы со скукой — вновь не подвёл. Если бы и тут он смог остановиться, спокойно подумать, а главное — заглянуть внутрь самого себя, то убедился бы, что в деревню его пригнало чувство, на языке отца Алексея называемое “самостью”. Чувство коварное, толкающее на самые нелепые шаги ради испытания себя и ради последующего довольства собой.



В суете и безостановочном верчении проходила жизнь самого Симанского и окружающих его людей. Своё “я” в этом мире негласно считалось высшей ценностью и мерилом всех вещей. Людей было много, и “я” у каждого своё, а потому никто ни с кем не сближался, и все оставались одиноки в большой толпе.

Когда на утро четвёртого дня у Чудомеха от непривычно-тяжёлого труда сдавило вдруг сердце, а перед глазами поплыли тёмные круги, и пришлось идти в село за фельдшерницей, Симанский поймал себя на том, что вместо сочувствия испытывает досаду, потому что из-за Чудомеха вынужден оставить интересное и приятное дело.

Фельдшерница оказалась дамой нестарой, к тому же одинокой — муж её прошлым летом сгинул спяну в болоте. Чудомеху она прописала покой и обещала передать лекарство. Два дня Чудомех провёл в постели, и Симанскому приходилось ухаживать за ним. Приходила фельдшерница, измеряла давление и поила Чудомеха отваром трав, который приготавливала и приносила сама в железном термосе, пахнущем кофе. От горького, зловонного отвара сводило мышцы лица, но Чудомех пил и улыбался, потому что ему были приятны знаки внимания этой чужой симпатичной женщины, и хотелось, со своей стороны, сделать что-нибудь приятное для неё.

В праздник Петра и Павла Симанский предлогил сходить в церковь. Они пошли, и Чудомех всю службу сидел на скамеечке в углу, а Симанский стоял среди старух. Некоторых из них он узнавал: вон гренадёры, вон маленькая старушонка, нашедшая вставную челюсть, вон Ильинична... Рядом с Чудомехом стояла фельдшерница.

Служба Симанскому не понравилась: старухи то и дело принимались петь дребезжащими голосами, в какой-то момент несколько человек вдруг повалились на колени и уткнулись лбами в пол, и на незнакомой старухе прямо перед собой Симанский невольно разглядел коричневые чулки в рубчик и гипюровый край белой комбинации, какие носила ещё его бабушка. Мысли Симанского разлетелись, и он стал думать, откуда у деревенской старухи комбинация; должно быть, много лет назад одарили городские родственники, и, оставаясь по сей день предметом роскоши, комбинация покидает сундук только по большим праздникам. Когда отец Алексей стал говорить проповедь, Симанскому показалось, что обращается батюшка к нему лично. Симанскому это не понравилось, и слушал он проповедь с раздражением.

— ...Апостол Пётр, — говорил отец Алексей, — повёл себя самонадеянно, сказав Господу: “Аще и вси соблазнятся о Тебе, аз никогдаже соблазнюся”. Но не пропел петух дважды, как трижды отрёкся Апостол. Так бывает со всеми, надеющимися на себя, но не уповающими на Господа... Каждый из нас, братья и сестры, создан по образу Божию, но не все решаются, преступив чрез собственные похоти, встать на путь богоуподобления. И хоть мы знаем: ничто вне этого пути не может успокоить нас, мы часто влачимся стезёй удовольствий, выгод и самолюбования...

Чудомеху было всё равно, он вышел из церкви и забыл, зачем входил в неё. Но Симанский всё думал, как может этот отец Алексей — необразованный, пропахший кухней, с торчащей во все стороны бородой, как у лешего, — как может он научить чему-то или подсказать. Что он знает такого, чего не знает или не может узнать Симанский, чего нет в книгах, доступных образованным людям? И выходило, что надобность в отце Алексее может быть, единственное, у старух — созданий ещё более тёмных и невежественных. А если Церковь прямо не говорит об этом, то стоит она на лжи. Да и не может стоять ни на чём другом, поскольку даже первокласснику известно, что все эти батюшки не так давно служили палачам, против которых боролись товарищи Симанского.

Спустя два дня после праздника Симанский один отправился косить. Но придя на прежнее место, увидел, что всю скошенную ими траву кто-то собрал и вывез. Это обстоятельство так поразило Симанского, что он тотчас же вернулся домой и во весь оставшийся день не мог приняться ни за какое дело.

А Чудомех был даже против обыкновения весел и чувствовал себя значительно лучше...

## VI

Лето подходило к концу, и отец Алексей освятил яблоки в храме. В садах цвели астры. Небо стало высоким, а дожди — холодными. И делалось почему-то грустно от нового запаха, пропитавшего воздух. Зима, наступлением которой пугал Лёнька, ещё только приближалась, а Симанский уже выдохся. С хозяйством не ладилось: кто-то унёс со двора пару алюминиевых вёдер, кроме дров, никаких запасов сделать не удалось. Как зимовать и чем жить в деревне, Симанский не знал. В последнее время он снова хандрил и чувствовал себя обманутым. Народ оказался не тот, и церковь тоже не та. Народ — груб и тёмн, церковь — бестолкова и лжива. И, как ни странно, думы о хозяйстве нагоняли скуку, и лишь при мысли об отце Алексее Симанского переполняло жгучее, сотрясающее чувство, которое сам он определял как гнев праведный.

Как-то, не глядя Чудомеху в глаза, он сказал:

— Поеду-ка я... домой съезжу. Своих повидать. Да и так... Вещи надо тёплые... зима близко.

— Да, зима близко, — вздохнул Чудомех.

— Поедешь со мной? — разглядывая носки своих сапог, спросил Симанский.

— Нет... я уж здесь... Чего мне там?..

Симанский уехал. И больше в Речные Котцы не возвращался.

С тех пор минул год. На Святках почил отец Алексей, и на его место прислали из епархии молодого священника. Ильинична стала хворать, и церковным старостой избрали Семёновну, у которой, как говаривал Лёнька, “цельное стадо коз”.

Несколько раз молодой батюшка, снедаемый ревностью по доме Божию, а потому подмечавший и всякий раз пересчитывавший немногочисленных прихожан своих, обращал внимание на одну пару не из местных — невысокого роста, застенчиво-улыбчивого мужчину и худенькую строгую женщину в модных очках. Что ни делал мужчина в храме — осеял ли себя крестом, подходил ли к иконе, — делал он по примеру, а то и по указке своей спутницы.

Батюшка поинтересовался у Семёновны, и та поведала, что это “фершлица со своим мужем-москвичом”.

— Фамилие у него ещё такое... — наморщила нос Семёновна, — усмарное... Мех, что ли, какой...

— Мех?... — удивился батюшка.

— Ну, да... Ну, да... — закивала Семёновна. — Мех. Вроде как... хороший.

— Кто хороший?

— Дык... Мех... Фамилие такое: Хороший мех...

Но батюшка не стал вдаваться в подробности ономотологии. Ему захотелось перекинуться словечком с земляком — батюшка и сам был москвич, — но пересечься вне храмовой службы не удавалось. Наконец, они встретились у сельского магазина. Был обеденный перерыв, и, поджидая продавщицу, они разговорились. Батюшка первым представился, и в ответ услышал:

— Виктор Чудомех...

Усмехнувшись про себя диковинной фамилии, батюшка поинтересовался, правда ли, что собеседник его приехал из Москвы. Собеседник оказался словоохотливым и подтвердил, что в прошлом году, имея перед собой неясные цели, перебрался вместе с товарищем в Речные Котцы. А после женился и обосновался в селе. Товарищ же вернулся домой и теперь, слышно, издаёт в столице свою газету.

— Газета оппозиционная, — улыбнулся Чудомех.

— И кому же он себя противопоставляет? — улыбнулся в ответ батюшка.

— Власти. И... церковному официозу.

Но заметив, как насторожился батюшка, Чудомех пояснил:

— Это он сам так определяет. Сошёлся с какими-то людьми и вот... увлёкся.

— А как называется? — полюбопытствовал батюшка.

Чудомех назвал, и батюшка ахнул — газета и редактор хорошо были известны в церковных кругах. На страницах газеты вчерашние диссиденты боролись с жидомасонами, истребляющими русский народ и разлагающими Церковь и государство. Выдвигались также требования канонизировать Сталина, и даже печаталась написанная кем-то икона отца всех народов. За отказ обвиняли Патриархию в неверии, экуменизме и одержимости. В Церкви газету считали еретической и не раз обращались к главному редактору с призывом перестать баламутить людей. Но редактор не унимался, и все последующие публикации были злее и дерзостнее предыдущих.

— Неймётся людям, — вздохнул батюшка.

— Он всё искал чего-то... — попробовал вступиться Чудомех. — Я вот тоже... не сказать, чтобы шибко верующий... так... за женой больше...

Вернулась с обеда продавщица. Поправила полной рукой мохеровый берет, из-под которого выбивалась крашеная чёлка, облизнула красные напомаженные губы и принялась отпирать дверь. К магазину стали стекаться люди.

— Да, — снова вздохнул батюшка.

И, ни к кому не обращаясь, прибавил:

— Лишь бы себя показать...